

ПОСТМОДЕРНИЗМ В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

© 2001

А.А. Пелипенко

Проблема постмодернизма до сих пор остается ключевой, и не только для гуманитарной мысли. Хотим мы того или нет, мы все дышим воздухом постмодернизма, и, быть может, то, что мы сегодня называем постмодернизмом и рассматриваем как достаточно локальное историческое явление, на самом деле — пролог глобальных изменений в сознании и культуре, изменений, чью близость и неизбежность мы ощущаем уже, по крайней мере, несколько десятилетий. В этой связи хотелось бы отвлечься от внешних феноменологических проявлений постмодернизма, достаточно хорошо описанных (и, в том числе, современным искусствоведением) и рассмотреть его, прежде всего, как феномен сознания. Поскольку именно постмодернистскому сознанию свойственна не просто переходность, а *переходность, возведенная в принцип* (т.е. не привязанная к каким-то относительно статичным экзистенциальным и ментальным установкам), то структурный код такого рода сознания может служить ключом для интерпретации переходных процессов в культуре вообще и в искусстве в частности.

Прежде всего, необходимо определиться с терминами. Представляется целесообразным воспользоваться терминологией филолога И. Ильина, указывающего на существование взаимосвязанного комплекса — “постструктуралистского, деконструктивистского и постмодернистского”, связанного известным единством оснований и парадигм. Здесь постструктурализм предстает своеобразной эстетической концепцией, деконструктивизм — методом анализа художественных феноменов (и не только их), основанным на постструктуралистских представлениях, а постмодернизм выступает как некое общее умонастроение современной эпохи, существующее автономно, но не без участия двух первых компонентов вышеозначенного комплекса¹.

Безусловно, правы те, кто считает, что масштаб изменений в культурном сознании, совершившийся на рубеже последней трети нашего столетия, значительно превосходит по глубине и значению обычные исторические колебания между полюсами антиномий новоевропейского культурного космоса: антропологическим максимализмом и антропологическим минимализмом, дионисийским и аполлоническим началами (по Ницше), ренессансным и барочным мироощущением (по Вельфлину), “чувст-



ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОД



Пелипенко Андрей

Анатолевич — кандидат искусствоведения, доктор философских наук, профессор кафедры философии Московского государственного университета культуры и искусств. Постоянный автор журнала.

¹ Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996. С. 201.



ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЕ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОД



вованием” и “абстракцией” (по Воррингеру) и т.д. По словам самих теоретиков постмодернизма, современность вызвала не просто кризис ценностей, а окончательную смерть всякой метафизики². Именно от этой, действительно, чрезвычайно важной посылки следует отталкиваться, чтобы исследовать постмодернизм не просто как конгломерат культурных явлений, а как исторический феномен сознания.

В известном смысле, историю культурного сознания можно рассматривать как перманентное движение *фронта рефлексии – последовательное расщепление, осмысление и о-значение первоначально целостных, недифференцированных и невербализованных представлений, в которых осваивал мир первобытный человек; перевод непосредственных синкретических комплексов сознания в цепочки дифференцированных, наделяемых значениями культурных фактов и, соответственно, перемещение феноменов из сферы культурно-бессознательного в сферу сознания культуры*³. Сейчас в европейском сознании, которое всегда стояло в авангарде процесса расчленения этого первичного синкрезиса, сложилась уникальная ситуация. Впереди, т.е. перед фронтом рефлексии, не осталось почти ничего, т.е. ничего первозданного и неопосредованного. Во всяком случае, именно так видится положение дел самому рефлектирующему сознанию. В результате фронт рефлексии *инвертивно обратился назад* – к “исторически сложившемуся” складу дискретных артефактов, форм, знаков, пресловутых “следов”, знаковых конструктов и пр. А поскольку культура из чего угодно делает лишь то, что способна увидеть, освоить, назвать и использовать, – то в результате подобного – вынужденного – обращения назад она измельчает, атомизирует еще недавно упорядоченную, разложенную по полочкам систему форм и значений и обнаруживает на месте былой системы новый хаотизованный конгломерат, *новый синкрезис*. Теперь, правда, уже не природный и даже не природно-культурный, а всецело культурный: здесь нерасчлененность обусловлена уже не отсутствием смысловых связей между элементами культурных феноменов, а, напротив, стереометрическим многообразием этих, теперь уже бесчисленных, связей, воспринимаемых прежде всего *текстологически*. Отсюда и установившееся со времен Мальро “музейное” отношение ко всему предшествующему опыту культуры и, что нисколько не удивительно, неприятие и критика ключевого для европейского рационализма (а не только структурализма) принципа бинарных оппозиций – основы всего процесса культурной рефлексии. Так, Жиль Делез в рамках деконструктивистской критики структурализма показывает, что во всякой оппозиции присутствуют многочисленные различия, хаотизирующие ситуацию, казалось бы, четкого оппозиционирования. Вполне естественно, что сознание, оказавшееся в зоне развернутого фронта рефлексии, пытается мыслить соответственно (“параллельно”) своему новому предмету — хаотизованному конгломерату дискретных значений. И связи между этими значениями теперь схватываются “горизонтально”, внеиерархично. Продуктом такого мышления может выступать концепция “бесфор-

² Так, О.Б. Вайнштейн пишет, что прежде описание всякого явления несло в себе смысл, “за которым скрывался таинственный сакральный центр, генерирующий вокруг себя вращение интеллектуальной энергии” (См.: Вайнштейн О.Б. Постмодернизм: история или язык? Материалы “круглого стола”: Постмодернизм и культура. // Вопросы философии. 1993. №3 С.6.

³ Подробнее об этом см.: А.А. Пелипенко, И.Г. Яковенко. Культура как система. М., 1998. С. 150-157.

менного хаоса”, но только основанная уже не на первобытном синкретизме, а на вполне рефлексивном утверждении, что нет и не может быть никакого объективного критерия, определяющего “величину” различий между явлениями⁴.

Исчерпание “синкретического ресурса” перед фронтом рефлексии самым непосредственным образом связано со “смертью Бога” (Ницше) и упомянутым концом метафизики. Перевод все новых и новых феноменов из сферы трансцендентного в сферу имманентного, постепенно приводящий к истончению, истощению и формализации трансцендентного – магистральная дорога всего европейского сознания, начиная с античности. И эта дорога не могла не привести к постмодернизму. Не удивительно, что постмодернисты или, скажем точнее, постмодернистски настроенные умы склонны усматривать исторические репетиции постмодернизма в закатных фазах европейской культурной истории начиная с эпохи эллинизма.

Но репетиции — это репетиции. И кризис в те репетиционные эпохи означал не исчерпание синкретизма как такового, а всего лишь исчерпание гносеологического и эпистемологического инструментария сознания, вследствие чего одна культурная парадигма сменялась другой. А подлинный конец этого пути обозначился только теперь.

Можно, пожалуй, сказать, что в этой “финальной” (на сегодняшний день) точке родился новый культурно-исторический субъект. Его возникновение было вполне рационально (т.е. во все не в духе постмодернизма) обусловлено исторической диалектикой эволюции культурного субъекта. Эволюция эта состояла в восхождении от “распыленного” коллективного субъекта, обладающего непосредственным (благодаря преимущественно интуитивному характеру взаимоотношений с миром) и безусловным (благодаря авторитету священной традиции) знанием, к автономному (отпавшему от всего) субъекту, пребывающему в пространстве “рассеянных” (по Дерриду) смыслов. Здесь в поле произвольных ассоциаций (а иные смысловые структуры перед обращенным назад фронтом рефлексии еще не выстроились) все может означать все, поскольку для автономного субъекта, снимающего в своем индивидуальном опыте суммарный опыт культуры, все значения релятивны и условны. Для такого субъекта цепочка порождения и выведения смыслов, на которой основывалась традиционная европейская эпистемология с ее иерархиями и трансцендентными абсолютными, обрывается в самом начале, толком и не начавшись. Он чисто автоматически раскладывает эмпирические свойства феноменов в поле семиотических координат, задаваемых системой культурного опыта. Здесь нет никакой партисипации к объекту, т.е. стремления хоть на какой-то момент преодолеть, “снять” противопоставление субъекта объекту. А ведь именно это стремление всегда составляло фундаментальную интенцию культурного сознания (не только европейского) и служило вечным двигателем установления смысловых отношений между субъектом и объектом. Здесь *внешний объект выступает соответственно внешним же моментом*. Это царство универсальных механизмов

А. Пелипенко
Постмодернизм
в контексте
переходных
процессов

⁴ См. Deleuze G.,
Guattary F. *Difference
et repetition*. P., 1968.



ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЕ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОД



сведения неизвестного к известному, царство знания без понимания, освоения без переживания, апперцепции без партисипации. Такого в истории культуры еще не было. Именно такая субъектная позиция постмодернистского сознания объясняет и антииерархическое выравнивание всех и всяческих значений — этакое парадоксальное (и, признаться, довольно скучное) однообразное разнообразие, и “номадический” дрейф по Ж.Делезу, везде оставляющий следы и ни к чему не относящийся серьезно.

Мир, открывшийся обратившейся назад рефлексии, — это, прежде всего, мир знаков и семиотических кодов. Знак предшествует вещи. Знак заслоняет вещь. Знак господствует над вещью. Аберрации такого рода вызывают к жизни явление известное как “семиотический экстремизм”⁵.

Возникновение такого явления в постмодернистском мироощущении и его окрестностях вполне объяснимо и исторически закономерно. Распадение синкретической тотальности мироощущения, скрепляемой архаическим ритуалом, и начало вычленения автономизирующегося субъекта явилось отправной точкой дис-параллельного существования, с одной стороны, апофатически переживаемых смыслообразов, с другой — все более условно соответствующих этим образам знаковых форм. Пока знаковая форма служит *онтологическим* (а отнюдь не условным) репрезентантом означаемого и синкретически слита с ним посредством магически функциональных семантических рядов, — *собственная онтология* знаковой формы не осознается. Но стоит рефлексии (а рефлексия, напомним, выступает одним из индикаторов становления субъектной самостности) добраться до самой онтологии знаковой формы и выявить ее имманентную, а не трансцендентную, как молчаливо предполагалось, природу, — как эта форма начинает жить собственной жизнью, вне своих отношений с означаемым, и связь между ними становится все более и более условной. Запускается бесконечный процесс продуцирования “знака знака”, “образа образа” по Ч.С. Пирсу.

В истории культуры можно насчитать несколько особенных точек, когда этапы замыкания знаковых форм на себя носили динамический скачковый характер. Одним из таких скачков было возникновение письменности, другим — утверждение *логоцентризма* как культурной парадигмы. Сейчас, в полном соответствии с законом отрицания отрицания, очередной скачок в самозамыкании знаковых систем, притязающих в постмодернистском сознании на тотальное растворение в себе последних островков “объективной реальности”, отрицает логоцентризм.

Справедливости ради, надо сказать, что признаки изживания логоцентризма прослеживаются на всех этапах культуры, а отнюдь не в одном только постмодернизме. Однако именно постмодернизм наиболее адекватно рефлектирует и концептуализует этот процесс. Так, деконструктивизм Ж. Деррида, оказывающий сегодня сильнейшее влияние на самые различные сферы гуманитарного мышления и художественного творчества, отталкивается именно от критики “логоцентрической традиции”, понуждающей традиционное мышление искать во всем

⁵ См., напр., Делез Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения: АНТИ-ЭДИП. М., 1990 (книга опубликована в Париже в 1972 г.).

некую истину. А за жаждой истины стоит, по Деррида, не что иное, как “желание” или ницшеанская “воля к власти”. Таким образом, любые построения традиционного мышления, по сути, иррациональны, все его претензии на адекватность реальности, упорядоченность, логичность и т.д. оказываются несостоятельными⁶.

Изживание логоцентрической культурной парадигмы с ее монотеизмом, презумпцией Должного, диктатом “законодательного разума” (по З. Буаману), и всем спектром мироустроительных установок от теократии (антропологический минимализм) до либеральной демократии (антропологический максимализм) – является, пожалуй, самым глобальным и фундаментальным процессом нашей переходной эпохи. И не он является признаком постмодернизма, а постмодернизм выступает одним из планов выражения последнего. В этом смысле постмодернистское сознание оказывается своего рода пионером, предвестником или моделью того типа субъекта и того типа культурного сознания, которому предстоит утвердиться в скором будущем на обломках вавилонской башни логоцентрической культуры. Предвестниками, впрочем, справедливо будет считать великих ниспровергателей “законодательного разума” – Ницше, Фрейда, Стриндберга. Пионеры от постмодернизма чувствуют себя в современном социуме куда более комфортно, чем чувствовали себя эти трагические одиночки. Но речь сейчас не об этом. Важно присмотреться к новому формирующемуся типу культурного сознания и попытаться разгадать тенденции его развития.

В перезаполненном знаками мире традиционная европейская схема субъектно-объектных отношений, где присутствует гносеологически активный субъект и онтологически пассивный объект, в конце концов, перестала работать. Этого не могло не произойти хотя бы потому, что наращивание знаковых звеньев, опосредующих такого рода субъектно-объектную связь, не может увеличиваться бесконечно без изменения качественного состояния структуры. В один прекрасный день сознание оказывается неспособным дотянуться до вещи, до объекта. Вся энергия экзистенциальной направленности на объект растекается, размазывается по цепи знаковых репрезентантов, переживаемых как самостоятельные онтологические величины, имеющие самостоятельную ценность. В этот прекрасный день умер классический европейский рационализм, ибо онтологически пассивный объект окончательно растворился в своих знаковых репрезентантах. Умерла метафизика, и умер Бог, ибо из замкнувшейся на себе эпистемологии исчез полюс трансцендентного – ведь неназванных и неназываемых объектов (а бог еще с аристотелевских времен понимался рационалистическим сознанием как отчужденный метаобъект!) больше нет, а все имена и оценки релятивны. Зато родился постмодернизм с его антииерархизмом, деконструктивизмом, локализмом, эклектикой, индетерминизмом и ризоматическим дрейфом в смысловом пространстве. В постмодернистской ситуации вместо познающего субъекта, имеющего твердые координаты самого себя и ясно определенные принципы познания, возникают безличные скорости,

А. Пелипенко
Постмодернизм
в контексте
переходных
процессов

⁶ “Это огромная бесконечная работа, которая постоянно должна избегать опасности классического проекта науки с ее тенденцией впасть в научный эмпиризм. Работа предполагает существование своего рода двойного регистра практики грамматики: необходимо одновременного выхода за пределы позитивизма и метафизического сциентизма и выявления всего того, что в фактической деятельности науки способствует высвобождению ее от метафизических вериг <...> Необходимо консолидировать и продолжать все то, что в практике науки уже начало выходить за пределы логоцентрической замкнутости.” См. Derrida J. Position. P., 1972. P. 48-49.



интенции, “направленности на...” и т.д. От медиации с объектом посредством знаков субъект перешел к состоянию *перманентной медиации в знаковом поле*. Т.е. от партисипации (экзистенциального природнения) к некоему познаваемому и осваиваемому объекту сознание погрузилось в континуальное состояние *партисипации к самому процессу медиации*. (Не случайно, например, для Ж.Деррида категория *различия* как некоего ставшего результата заменяется категорией *различения* как перманентного состояния сознания.) При чем такой медиации, где субъектно-объектные координаты сознательно выносятся за рамки структуры, низводятся до внешних формальных моментов. В рационалистической культуре дело обстоит прямо противоположным образом: полюса субъекта и объекта образывали онтологический и содержательный костяк структуры, а путь сознания по опосредованной знаковыми формами траектории партисипации рассматривался как нечто инструментальное и подчиненное. Теперь же субъект стал перманентным медиатором. Медиация стала восприниматься не как переход, “от...к”, а как базовое состояние, как постоянная сфера пребывания. И это, несомненно, новое качество культурного сознания.

В последнее время часто говорят о завершении некоего глобального витка человеческой цивилизации, о наступлении “новой первобытности” — возвращении к архаике на новом цивилизационном уровне. При этом чаще всего, помимо перечисления социально-экономических, политических и экологических компонентов кризиса современной постиндустриальной цивилизации, говорят о магическом ренессансе, неомифологизме, подъеме мистицизма и всех форм иррациональности, новых, а точнее, очень старых формах религиозности и т.п.

В этой связи любопытно отметить, что принцип ризомы (распределенной неиерархической сети), ставший своеобразной эмблемой постмодернистского мышления, интересным образом перекликается с архаической формой смыслообразования. И в архаическом, и в постмодернистском сознании выстраивание смысловых элементов осуществляется по принципу *присоединительной, а не структурной связи*. Интеллектуал-постмодернист отличается от первобытного охотника использованием изощреннейшего инструментария отстраняющей аналитической рефлексии. Но и тот, и другой пробираются между элементами реальности, двигаясь маршрутно, т.е. от точки к точке, от пункта к пункту прихотливыми зигзагами, вырисовывая спонтанную, сложную, слабоструктурированную кривую, изгибы которой диктуются преимущественно имманентной природой самих вещей. Разница, разумеется, в том, что в роли вещи для архаика выступают *сами вещи* в их эмпирической непосредственности, а для постмодерниста вещь репрезентирована “пучком” семиотических значений и в нем растворена. Но характер смыслообразовательных интенций во многом совпадает. Так, деконструктивистские процедуры с текстами своеобразно архализуют тип внутритекстовых смысловых связей, превращая текст из *структурно/композиционно* организованного в конгломеративно-суммативный и последовательно присоединитель-

ный. А такие признаки ризоматического мышления, как отказ от “центрирующей мифологемы”, фрагментарность, слабоструктурированность и открытость системных образований со слабо выраженными “пучками различий”, вполне подходят и для описания архаического мышления. Подобная *интерпретирующая* парадигма мышления, парадоксальным образом связывающая архаика и постмодерниста, безусловно, предполагает предварительное знание как о мире вообще, так и об интерпретируемом феномене (тексте, структуре) в частности. Для архаика такое знание обеспечивается неполной разорванностью с природной по генезису универсальной связью всего со всем и встроенностью синкретичного сознания во всеобщий некодифицируемый информационный поток. Такая встроенность обнаруживает себя в сознании вспышками интуитивного и безошибочно-императивного предзнания, или, точнее, *узнавания* природы вещей и феноменов. Для постмодерниста успех интерпретирующей стратегии базируется на опыте интеллектуально-аналитической практики. Деконструкция не может быть осуществлена без должного знания свойств анализируемой структуры и понимания ее духовно-содержательной и формально-смысловой составляющих. Только в случае глубокого проникновения в содержательные пласты анализируемой структуры возможна ее деконструкция и использование в собственных целях. Во всем этом, действительно, просматривается параллелизм стратегий сознания в крайних пунктах исторической эволюции ментальности. Для архаика, загнипотизированного магической поливалентностью свойств реальности, “законодательный разум” еще не проснулся или действует бессознательно на коротких прагматических дистанциях. Для постмодерниста этот же самый “законодательный разум” вынужден стыдливо умолкнуть, ибо интеллект уже видит и рефлектирует слишком много того, что не вписывается в линейно-монистические нормативистские структуры⁷. Такой интеллект “предпочитает не предпочитать” (Ортега), не строить и конституировать, а в интерпретирующем режиме дрейфовать по растекающимся во все стороны ручейкам смыслов, ассоциаций и значений. “Текстовый анализ требует, чтобы мы представляли себе текст как *ткань* (*таково*, кстати, этимологическое значение слова *текст*), как переплетение разных голосов, многочисленных кодов, одновременно перепутанных и незавершенных. Повествование – это не плоскость, не таблица; повествование – это объем, это стереофония <...>

“Форма существования смысла <...> – не развертывание, а *взрыв*: позывные, вызов принимающего, проверка контакта, условия соглашения и обмена, взрывы референций, вспышки знания, более глухие толчки, идущие “с другой площадки” (из сферы символического), прерывность действий, относящихся к одной цепочке, но не связанных натуго, все время перебиваемых другими смыслами.”⁸

Конечно, нельзя объять необъятное пространство, но тем приятнее в нем путешествовать. Но для этого, как уже было сказано, необходимо знать язык противника, вжиться в него,

⁷ Так, Р. Сальдивар пишет: “Деконструкция не способна эффективно добраться до этих важных структур, предварительно не обнажив их и не позаимствовав у них для анализа все их стратегические и экономические ресурсы”. Цит. По: Ильин И.П. Указ. соч. С.185.
⁸ Барт Р. Текстовый анализ одной новеллы Эдгара По. М., 1989. С. 459-460.



ЧЕЛОВЕКОЗНА- НИЕ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОД



освоить его структуры, чтобы затем вернее поставить его себе на службу. “Коды важны для нас лишь как *отправные точки* “уже читанного”, как *трамплины интертекстуальности*: “Раздерганность” кода не только не противоречит структуре <...>, но напротив, является *неотъемлемой частью процесса структуризации*. Именно это “раздергивание текста на ниточки” и составляет разницу между структурой (объектом структурного анализа) и структуриацией (объектом текстового анализа)”. Чём не стратегия первобытного шамана, совершающего рейды в мир духов с помощью магических технологий?

Аналогия распространяется также и на аспекты *целостности и иерархичности* в представлениях о реальности. Для архаика мир как целое *еще не осознан в рефлексии*, для постмодерниста он *уже не целостен* и дезинтегрирован на “региональные онтологии”. Для архаика иерархические цепи *еще не выстроились* в системе идеальных конструкций, хотя и действуют на бессознательном и полусознанном уровне в практической жизни. Для постмодерниста всякие иерархии если и существуют, то как заведомо условные, а следовательно, необязательные и несущественные структуры. Нельзя не отметить, что, как для архаика практическое освоение мира в чем-то всегда дис-параллельно конститутивной мифо-ритуальной модели, так и для постмодерниста интеллектуальные игры и релятивистский ригоризм прекрасно уживаются с вписыванием в социальные иерархии, рациональные конвенции и прочие “правила игры”. Да и сами жанровые, стилевые, риторические и аргументационные черты текстов классиков постмодернизма в полной мере соответствуют этим самым правилам. Правилам столь рьяно отвергаемого ими “метанарративизма”, логоцентризма и диктата “законодательного разума”. Здесь достаточно посмотреть под этим углом зрения на приведенные в данной работе цитаты из работ Деррида и Барта. (Вспоминается известный японский профессор Судзуки, который с помощью стройной и убедительной логической аргументации доказывал ограниченность и тупиковость европейской логики и гносеологии.) Такая “нестыковка” у интеллектуалов высшего ранга может объясняться типичным для всякой бурно развивающейся культурной программы самогипнозом, искренними абсолютистскими претензиями и манией величия. Для второго же и третьего эшелона – это часто принимает формы откровенного лицемерия. (Автору этих строк приходилось встречать вполне постмодернистски настроенных литераторов, для которых среди свалки разрозненных, релятивных и фантомных “следов” неявно существующего мира две вещи оставались абсолютно святыми и конкретными. Это – тираж и гонорар. Эта же пара и являлась главными параметрами, по которым этот мир оценивался.)

Изнутри всякой новой парадигмы плохо видится то, что совокупный культурный ландшафт определяется не тотальным господством инновационного мировоззрения, а контекстом его взаимодействия с другими культурными парадигмами. Парадигмами вчерашними и позавчерашними, но, тем не менее, реально существующими вопреки самовнушениям новаторов. Увле-

⁹ Там же. С. 459

ченное новой системой идей сознание, интеллектуально превосходя и перерастая прежние модели, стремится вычеркнуть их из реальности, убеждая себя, что ему это удастся. Но прошлое почему-то не исчезает, а всегда образует с настоящим сложную амальгаму восходящих и нисходящих тенденций и процессов. В силу этого обстоятельства мир не рухнул, а выстоял под ритмичным натиском интеллигентского иррационализма и эсхатологической паники, который не ослабевал на протяжении всего XX в.

Поэтому думается, что, вопреки постмодернистским декларациям, полный крах рационально-иерархического принципа миру никак не грозит. Оттого, что определенный субъектный слой в некоторых сферах своего мышления и деятельности (не более!) вышел на горизонтально-сотовые доминанты смыслообразования и, погрузив в них свое переживающее я, перестал замечать иерархические основы как всеобщего, так и своего собственного бытия (взять хотя бы рутинный социально бытовой аспект), последние от этого не перестали существовать вообще¹⁰.

Что же касается самого процесса распада иерархических структур в определенных локусах культуры, который, безусловно, носит объективный и закономерный характер, — то у него, как представляется, есть вполне определенная причина. Дело в том, что европейское (в широком смысле) сознание достигло последнего (на сегодняшний день) фазиса *адаптации к пограничному состоянию*, которое еще сравнительно недавно, в начале века, переживалось чрезвычайно мучительно. Способ этой адаптации мы уже указывали. Европейское сознание (впрочем, только его “постмодернистская”, в расширенном понимании, часть) обрело, наконец выход из бесконечного чередования партисипации к дискретным и единичным значениям и следующего за ней болезненного отчуждения с очередным крушением ценностей и похоронам бога. Выход этот — в партисипации *не к значению как таковому, а к самому акту перманентного движения между смыслами*. Ничто дискретное не принимается в качестве безусловной ценности и экзистенциально не природняется. Текущее я в текучем феноменологическом пространстве культуры не знает тягости и трагедии отчуждения и выброшенности в мир. *В самом деле, если убежать из культуры нельзя, то остается сосредоточиться на самом процессе бега*. При этом бег по горизонтали интереснее, ибо он, в отличие от вертикальных трансцендирующих цепочек, *бесконечен*. Можно сказать, что сознание, с помощью иерархического вертикализма достигло условного потолка и, переориентовавшись, стало стелиться вдоль этого потолка, рисуя всевозможные фигуры на его поверхности. В этом принципиальное отличие современной ситуации от всех предшествующих многочисленных “революционных сломов” в истории культуры, когда на смену одним иерархическим системам приходили другие, воспроизводя все те же исходные архетипальные структуры в иной семантике. Не следует в то же время забывать, что необходимым условием для осуществления этой горизонтально-текучей я-медиационной парадигмы является та самая предельная

А. Пелипенко
Постмодернизм
в контексте
переходных
процессов

¹⁰ Априорность установки на иерархическое восприятие всякого внешнего объекта, т.е. выделение в нем более и менее значимых элементов подтверждена экспериментально в работах психологов-когнитивистов Макнамары, Хербла и др.



ЧЕЛОВЕКОЗНА- НИЕ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОД



измельченность и атомизация культурно-феноменологического материала, которая всегда дает о себе знать в закатные эпохи. Только в этом новообразованном культурном синкрезисе с его “однородной плотностью” возможно легкое медиационное плавание и маневрирование, где ни на что не наталкивающееся сознание может себе позволить ничего не принимать всерьез. Такое состояние, по определению, не может длиться не только вечно, но даже и относительно долго. Таким образом, мы подошли, наконец, к сфере прогнозов.

Разговор о прогнозах, всегда трудный и неблагодарный, начинается с отслеживания тенденций. Одной из таких тенденций, универсальной практически для любой системы идей, выступает расслоение изначально единой доктрины на, так сказать, эзотерический и экзотерический круг. В отношении постмодернизма это расслоение уже давно обозначилось со всей определенностью. В эзотерический круг (то, что было названо выше первым эшелонам) входят высоколобые мыслители, знающие цену словам, идеям и мнениям. И, конечно же, им прекрасно известна мера условности любых постулатов и утверждений, в том числе и своих собственных. Сказать, что многочисленные неопиты и рыцари постмодернизма из экзотерического круга в гораздо меньшей степени отягощены сомнениями, будет слишком мягко. Этот экзотерический круг, как, собственно, всегда и бывает, захватывая все более расширяющийся субъ-ектный слой, становится, среди прочего, прибежищем снобов, тщеславных бездельников, умственных лентяев и просто образованных, но поверхностных людей, нуждающихся в идеологическом обосновании своей жизненной позиции. Разумеется, никакой вины постмодернизма как такового здесь нет. Проблема ответственности (или не-ответственности) отцов-основателей за тех, кто идет за ними следом, стара как мир. Механизм деления их персон первого эшелона культовых фигур и приспособления их теорий под то, что тому или иному субкультурному слою нужно в данный исторический момент, всегда действовал и продолжает действовать безотказно. Что именно *практически* сделает культура из исходного корпуса постмодернистской теории, покажет ближайшее будущее. Пока что, по всему полю от искусства и эстетики до социологии и экономики взята на вооружение формула “все годится” – американизм, экзотери-зующий более тонкие и осторожные “высоколобые” формулы из первого эшелона. А на знаменах всех современных релятивистов, как теоретических, так и практических, начертаны имена отцов-основателей – Барта, Фуко, Деррида, Делеза и других. Насколько далеко зайдет на этот раз разрыв между “эшелонами” – неизвестно, но сегодня, во всяком случае, вполне можно говорить о том, что каждый из крупных теоретиков постмодернизма (в широком понимании) имеет своего двойника в виде культовой фигуры экзотерического круга, которая живет своей самостоятельной жизнью. (Такое, впрочем, происходило всегда. Достаточно вспомнить “культовых двойников” Гегеля, Маркса, Ницше и многих, многих других.) А если теоретик занимался еще и политикой... Но нет, не будем о грустном!

Если же говорить о тенденциях, связанных с короткими временными конъюнктурами, т.е. о тех, которые могут быть отслежены в наблюдениях за текущими процессами, — то здесь нельзя не отметить неизменное смягчение радикализма, свойственное всем без исключения инновационным культурным программам. У того же Р. Барта метод деконструкции эволюционировал от довольно жесткой установки “текстового анализа” до “теории текста” как способности языка к порождению смыслов. Да и в целом, постмодернизм, во всяком случае, как художественное мировоззрение неуклонно движется от ригористически непримиримых установок к более мягкому диалогу. В этом смысле признание существования отдельных островков детерминизма среди океана иррациональной неопределенности и бессознательной спонтанности — уже прогресс. (Не будем заниматься критикой трогательного в своей нелепости допущения *частичной* рациональности мира. Это что-то вроде легкой беременности или небольшой лоботомии.) Важно, что здесь постмодернизм полностью вписывается в универсальный, задаваемый самоорганизацией культуры закон — закон, который можно назвать законом центростремительной инерции, в силу которого неизменно происходит смягчение доктринального противостояния инновационной и традиционной парадигм. То же самое происходило с авангардом на протяжении всего XX века. Бунтарь Малевич закончил почти натуралистической портретикой, Машков и Кончаловский стали писать музейные натюрморты, Брак в поздних работах пришел к изысканному “бархатному” колориту классической живописи, Энди Уорхолл незадолго до смерти стал писать с натуры виды Везувия и так далее. Можно сколь угодно отрицать любые законы — они от этого действовать не перестают. Сегодня постмодернизм, сформировавшийся в 70-х и переживший свой пик в 80-х, пропитывая и пронизывая все поры культуры, все более растворяется в ней, снижая остроту доктринального противостояния. И хотя на сегодняшний день другой сомасштабной постмодернизму мировоззренческой установки, объясняющей взрыв интерпретирующего мышления во всех его проявлениях, не существует, можно говорить об отчетливых контртенденциях. По крайней мере, в последние пять лет наблюдается явная усталость от произвола, бескачественности, эклектики и иных фигур постмодернистского инструментария типа двойного кодирования, палимпсеста, различного рода цитирования, декомпозиции, бриколажа и др. Не говоря уже о кричащем противоречии между плюралистическими декларациями и жестким навязыванием постмодернистского кода в гносеологии и эпистемологии, непереносимом снобизме и диктаторском конституировании той самой “законодательной истины”, против которой, собственно говоря, и был, изначально направлен весь пафос постмодернизма.

Сегодня ряд авторитетных авторов (например, Х. Блум) уже не стесняется выступать за возврат к традиционному бинарному коду, к целостным онтологическим и эпистемологическим конструкциям, центризму, к “реанимации” “похороненного” Р. Бартом автора, к установлению границ контекстуализации

А. Пелипенко
Постмодернизм
в контексте
переходных
процессов



текста и т.п. Разумеется, никому в истории еще не удавалось ничего возродить или вернуть в прежнем виде. Но не будет ничего удивительного, когда на смену эпохе господства постмодернизма придет эпоха *неоклассики*.

Если же взглянуть в макропроцессы, суть в долговременные исторические конъюнктуры, то и здесь представляется возможным выделить некоторые тенденции. Но прежде следует оговориться, что на этом уровне анализа речь может идти не о постмодернизме в его узкоисторическом понимании, а о тех сквозных и подспудных процессах, которые сами по себе шире и масштабнее сколь угодно широко понимаемого постмодернизма. Точнее сказать, постмодернизм выступает одним из внешних планов выражения этих процессов – так сказать, уровнем явления, сущность которого уходит корнями далеко в историю.

Постмодернистское отрицание модернистского логоцентризма – это не просто заурядная ситуация борьбы мировоззренческих установок внутри некоей макропарадигмы, как это неоднократно бывало раньше. Происходит смена самой макропарадигмы. Именно постмодернизму выпала историческая роль стать могильщиком логоцентризма – макропарадигмы, родившейся в античности, утвердившейся с победой монотеизма и пережившей бурную историю кризисов и взрывного развития на протяжении новоевропейской истории.

Не случайно расцвет постмодернизма в его узкоисторическом понимании совпал с началом экранной революции. И то, и другое – мощные и взаимосвязанные факторы, свидетельствующие об исчерпании логоцентрической парадигмы и рождения нового качества культурного сознания вообще и художественного сознания в частности. И это новое качество действительно принципиально отличается от всего, что было прежде. Исторический путь искусства как эволюции форм выражения социально значимых смыслов пройден до конца. Социально значимые смыслы теперь выражаются в самоадекватных формах современных информационных систем, масс-медиа и отчасти массовой культуры, из которой все более выдавливаются эстетические компоненты. Универсальный процесс индивидуализации “перекачал” функционально-содержательную ориентацию искусства от социальной к субъективно-экзистенциальной. Поэтому та сетка критериев и установок – стиль, форма, вкус и т.п., – которая служила раньше опорными точками онтологического самоопределения искусства как такового, теперь никакого значения не имеет. Кто из критиков сегодня всерьез пишет, к примеру, о колористических качествах или композиции того или иного живописного опуса? Все это, будто бы, уже давно пройдено и снято. Мало что из арсенала прежних атрибутов искусства вошло в современное понятие профессионализма, все более соотносимого с технологической изошренностью. Да и само требование профессионализма отнюдь не является общеобязательным. Дилетантизм и различного рода маргинальность, во многом благодаря стараниям постмодернизма, живут рядом с профессионализмом на равных правах. Искусство пре-

вращается в своего рода индивидуальную религию, осуществляющую трансцендирующий духовный прорыв. Посредством художественного творчества личность способна устанавливать мистический контакт с запредельными духовными силами, добиваться психологической гармонизации и реализовывать свою индивидуальность, частично преодолевая тем самым пресс социального отчуждения. И здесь, разумеется, вся традиционная система критериев, ориентированная на социально значимый результат, с ее диктатурой вкуса и конвенциональными правилами игры, оказывается совершенно неадекватной и ненужной. Традиционное искусство – от реалистической живописи до классического балета, – воспроизводя на уровне стиля и форм прежние модели, функционирует уже, независимо от намерений и самовнушений авторов, исполнителей и потребителей, в совершенно иной ситуации. Эти формы искусства, ностальгируя по временам, когда они синкретически вбирали в себя целый ряд социально значимых информационных слоев, теперь, подчиняясь общей логике процесса, становятся “театром для себя”, точнее, для все более узкой (если речь не идет о массовом искусстве) группы потребителей. Именно группа, кстати сказать, есть промежуточное звено на пути к единичному субъекту в процессе индивидуализации. Сейчас мы наблюдаем все более и более мелкое дробление условно-совокупного потребителя на многочисленные и все более узкие и замкнутые группы. А последний шаг к единичному субъекту как самодостаточному кванту художественного процесса на наших глазах делает всемирная сеть Internet, предоставляющая каждому пользователю все более расширяющиеся возможности неограниченного виртуального творчества, где средства самовыражения и субъективный художественно-терапевтический эффект огромны, а социальная значимость близка к нулю. И то, что социально значимые формы творчества полностью выродились в профессиональную деятельность, а творчество в прежнем смысле стало уделом зачастую маргинальных одиночек, – тоже напрямую связано с постмодернизмом.

Именно постмодернизм остановил модернистскую гонку оригинальности и сделал всех современниками. И это следует иметь в виду, когда мы будем искать объяснение тому, что во второй половине XX века, по крайней мере, в некоторых направлениях художественного творчества наблюдалось явное замедление инновационного бума. Для кого, например, в 50-х годах была актуальной музыка 30-х или фильмы 20-х? А сейчас хоть и по-своему, но актуальны и 70-е, и даже 60-е. Это, впрочем, отдельная тема.

Скорее всего, в своей имманентной эволюции доктринальный постмодернизм со временем схлопнется до локальной субкультуры, но сам дух постмодернизма еще более пропитает современное культурное сознание и станет от него неотделим, и как господин Журден не знал, что говорит прозой, так интеллектуалы ближайшего будущего (не говоря уже обо всех остальных) не будут в полной мере отдавать себе отчет в том, чем они обязаны постмодернизму.